

В августе шестьдесят восьмого советские танки подошли к границе Чехословакии. Грохот гусениц мы слышали тихой закарпатской ночью в пионерском лагере поселка Свалява. Но разве нам было до этого? Было нам по пятнадцать, и то лето оказалось летом влюбленностей под шепот шоколадных крыльев бабочек, дурманящих запахов хвои, прозрачных ягод белой черешни и конфет «Чернослив в шоколаде».

Там я и приобрела Наташку Волынскую. Это была любовь с первого взгляда. Она стояла высоко, на балконе, в расклешенных джинсах-самострок, которые смотре-

лись на ней как фирменные, и в синей штапельной с высоким воротом блузке в редкую белую полоску. Хрипловатым голосом с милым малороссийским акцентом она приветствовала новеньких, а повязанный у ворота модный галстук из той же блузочной ткани кивал, покачиваясь на ветру. Смуглая матовая кожа загадочно отсвечивала чем-то розовым, искрились на закате густые темные волосы и белели не очень ровные зубы.

На ночь она облачилась в атласную пижаму, утром переделась в замечательно заграничный короткий комбинезон, и в пять, после ужина, я уже следила за ней неотрывно, боясь пропустить новое перевоплощение. Всё было сшито по последней моде из польских, чешских журналов или куплено на львовском толчке. Так в Москве вообще никто не одевался, даже мои одноклассницы, дети выездной номенклатуры.

Всё в Наташке было особенным: и то, что она чистила зубы зубным порошком с содой, и то, что полоскала волосы каким-то специальным раствором, после чего долго пахла лавандой и укропом, и то, что всё время улыбалась без причины. После моих московских одноклассниц – смурных и потливых, закованных в коричневые формы с черными фартуками, – она казалась мне заграничной штучкой, свободной певчей птицей с бирюзовыми переливчатыми перьями. Нет, петь она не пела, вернее, горланила как бы в шутку только одну украинскую песню «На камені ноги мию...», зато тараторила без конца, рассказывая невероятные истории. Все они сводились к тому, что ей суждено стать актрисой.

«Все Волынские были певцы и актеры. Куда же от этого денешься...» – громко и театрально вздыхала она. Так обычно заканчивался рассказ про папашу, который был изгнан бабушкой из-за распутного образа жизни и низкого заработка. Наташка постоянно рассказывала папину

историю и всегда романтизировала, каждый следующий раз добавляла всё новые детали, пришептывала, закатывала глаза, сворачивала губы дудочкой.

Старший Волинский был, как теперь говорят, плейбоем и служил каким-то младшим офицером в танковой дивизии. Там он руководил хором, играл на аккордеоне и пел. Его знали многие женщины Львова. Когда наша вожатая, желеобразная ленивая тетка, узнала, что Наташка – дочь того самого Волинского, то плотоядно улыбнулась и почему-то стала рассказывать нам, девчонкам, как у кого-то там обнаружили в том самом месте какие-то мандавошки.

Папаша Волинский родился в Польше на границе с Чехословакией в семье богатых евреев. Его дяди были оперными певцами, многие в семье музицировали, пели и играли в театрах. Когда пришли немцы, четырнадцатилетнему Борису, единственному из всей семьи, удалось скрыться. Он как-то добрался до советских и остался с ними – сначала отступал, потом наступал. Сыном полка, запевалой, а потом и сержантом. Добрался до Львова, бывшего польского Лемберга, и там понял, что в Чехословакию ему возвращаться незачем. Ничего не осталось, никого нет.

От непутевого красавца папаши получила Наташа свою красоту и четкое осознание своего предназначения – она обязательно станет актрисой, в этом ни у кого не было сомнений. Особенно у бабушки Ядвиги – суровой, немногословной женщины с военной выправкой.

У бабушки, которая стала одновременно и дедушкой, и папой, и воспитательницей, и домоуправительницей, было трое «детей» – хрупкая Наташка, прозрачный брат ее, Сережа, и их ангелоподобная мама Эльвина. Мамино имя прямо в точку – она была похожа на Мальвину из сказки и как будто всё время ждала, чтобы кто-нибудь ее спас.

Мужеподобная бабушка зорко следила за здоровьем, диетой и внешним видом членов семьи, всех своих «детей», в число которых до изгнания входил и папаша Борис Волинский. Она даже скопила немалую сумму на преподавателя вокала для него, но зять не оправдал надежд. Теперь все чаяния были направлены на Наташеньку. Самодельные натуральные кремы, полоскание волос, отбеливание зубов и регулярное взвешивание – всё для того, чтобы придать ей наилучший товарный вид при поступлении в московский театральный вуз. Она спала на жестком, то есть на досках. Говорили, у нее очень серьезное искривление позвоночника, и вообще такая практика необходима для хорошей осанки.

Время расцвести еще было – до поступления оставалось два года. И все эти два года мы с ней были неразлучны: десятки писем с нарисованными цветочками и сердечками, телефонные звонки, даже телеграммы – «привет тчк приезжай тчк жду тчк». Я хранила ее письма десять лет. Даже сейчас могу представить ее почерк. Она писала мне, кто на нее посмотрел и что подарил, что сказала бабушка, чем болеет брат Сережа, и сетовала, что опять нет горячей воды. И, конечно же, мы делились переживаниями, которые тогда казались драмами и даже трагедиями, посвящали друг друга в тайны первых влюбленностей. Каждое ее письмо заканчивалось пожеланием поскорее приехать в Москву и стать актрисой, а также непременно тремя жирными восклицательными знаками.

Был ли у нее талант? Она-то сама была в этом уверена. Не сомневался в этом и руководитель самодеятельного театра, то ли Фишер, то ли Гольдберг, влюбленный в нее по уши. Он думал, что Наташе прямой путь в театральный институт, там она превратится в большую актрису. Она, конечно, забудет Фишера/Гольдберга, но зато его будет греть мысль, что именно он ее открыл. Может, когда-ни-

будь знаменитая актриса Наталья Волынская упомянет львовский самодеятельный театр и его, режиссера.

Два года подготовки к поступлению бабушка выказывала чудеса экономии и копила деньги с особым рвением. Девочку надо было одеть как следует, чтобы она ни в чем не нуждалась и не попала в плохую компанию. По поводу того, что необходимо беречь «девичью честь», бабушка твердила с малолетства, и для Наташи это была главная заповедь.

И вот сидит моя подруга на моей кухне и тараторит – рассказывает, кто курил с ней во дворе Щукинского, как одна старуха в приемной комиссии смотрела на ее ноги, как она впала в ступор и забыла конец басни, и как это было мило – строгие экзаменаторы улыбались, и что все в курилке говорят, она-то уж точно поступит.

А потом, когда никто не оценил ее таланта и красоты, ей пришлось снять комнату где-то на выселках. Ну точь-в-точь как в знаменитом фильме – подработка на почте, уроки сценической речи, зима в легких «львовских» ботинках, ангины с осложнениями и потерей голоса, простуды с отвратительными лихорадками на губе, борьба за роли в полуподвальной театральной студии очередного непризнанного гения.

Иногда она подолгу жила у меня дома, и бабушка звонила из Львова каждую неделю, несмотря на их скромные бюджеты – гордую нищету. Бабушка Ядвига просила приглядеть за Наташенькой, и мы всей семьей приглядывали, пока она не находила очередную подругу-мошенницу, поклонницу муз, и та ее обязательно обставляла. Я с нетерпением ждала еженедельные сводки о ее московских приключениях, сочувствовала, радовалась, отогревала. Особенно любопытны были мне в мои шестнадцать лет рассказы о том, как она в который раз ускользнула от домогательств очередного влюбленно-

го – ведь она по бабушкиному наказу берегла «девичью честь».

В ту субботу мы собирали Наташку на важное свидание с настоящим актером. Я с гордостью надела на нее свой кулон – золотая ажурная ракушка, а внутри маленькая жемчужина. На ней был выходной шелковый блузон цвета чайной розы, она благоухала духами «Жди меня», светлая перламутровая помада зазывно блестела на обветренных губах. По Наташкиным словам, тот актер оценил талант и фактуру львовской красавицы и обещал познакомиться с нужными людьми.

Около двенадцати хлопнула дверь подъезда, ну а потом тишина. Я побежала открывать, предвкушая ночь увлекательных рассказов, а после – волшебных снов. Наташка стояла, облокотившись о косяк – без пальто. Розовый блузон разорван наискосок от ворота-стойки до груди. В одной руке она сжимала цепочку с кулоном-ракушкой, в другой – маленькую жемчужину. Наутро она тихо ушла. Без рассказов, без слез, без обещаний.

После долгих скитаний по московским углам, череды сомнительных связей и нескольких тщетных попыток поступить в театральный (любой: от Щуки до ГИТИСа) Наташка – подавленная, обманутая и обворованная такими же неудачницами, как она, только гораздо более ушлыми и бессовестными, – вернулась во Львов. У бабушки и мамы она отогрелась, отъелась и некоторое время питала душу воспоминаниями о том, как любила актера Хмельницкого, как однажды он обратил на нее внимание, когда мы с ней ждали его у актерского подъезда после спектакля Театра на Таганке.

Место рядом с Фишером-Гинзбургом было уже занято ее подружкой, и Наташка вышла за кадрового военного, которых во Львове водилось много. Мужа послали в Египет, он был из «этих», так называемых военных консуль-

тантов. Вот так – мечтала в Москву, в театр, а получилось в пустыню, в гарнизон. Оттуда она написала мне длинное письмо, что сил нет, пол каменный, холодный, для ее здоровья непригодный, жизнь заграничная ничем, кроме покупок нескольких золотых колец и цепочек, не балует. По приезде из заморской командировки семья поселилась в отдельной квартире, родила сына, и Наташка с военным развелась.

Перед моим отъездом из России она специально приехала в Москву прощаться – была непривычно скованна и виновато улыбалась. Она протянула мне коробку конфет «Чернослив в шоколаде» и прижалась влажной теплой щекой.

В начале девяностых мне позвонила приятельница из Еврейского агентства. Она поведала, что к ней на прием приходила будущая репатриантка, назвалась моей близкой подругой и очень скоро прибудет в Израиль. И вот Наташка с мамой и сыном в Иерусалиме. Вместо роскошных, блестящих каштановых волос – дешевые пергидрольные кудряшки, точно такие же, как у мамы. Профессия – мать-одиночка. Работать даже не пыталась. Всё болела, болела... Какими-то загадочными болезнями. Причем каждый раз чем-то разным. С ходу подцепила какого-то худого дядьку турецкого происхождения, довольно солидного возраста, но не тут-то было. Не знала она наших местных евреев. У него жена, дети, дюжина родных и двоюродных.

Через две недели она сообщила мне хриплым голосом, что вместе с турком подцепила какую-то гадость типа хламидий. Дальше – хуже. Наташенька лежала в постели в маленькой комнатке с холодильником и плитой в хостеле для социальных случаев. Изредка она вылезала, накручивала желтые волосы на бигуди и выходила в свет с очередным ухажером. Мама заняла место ба-

бушки – бегала по уборкам, вела всё хозяйство, приносила Наташеньке свежие овощи и фрукты с базара. Сын рос в хостеле среди таких же обездоленных, непристроенных матерей-одиночек, их детей и вечно ворчащих пенсионеров.

А потом случилась большая неприятность – их разоблачили. Готовясь к отъезду, Наташка купила липовые документы – мол, папаша Волынский помер, а мама как вдова имеет право на репатриацию. Денег у них и там совсем не было, вот и купили что-то очень плохого качества. Прошло несколько лет, пока мама смогла получить все права, а я совсем потеряла их из виду. Один раз я позвонила, узнала, что все живы, получили государственную квартиру, сдают одну комнату студентам – «без этого не прожить, ведь я не работаю, болею» – у сына всё хорошо, «отмазался» от армии.

Лет через десять Наташка увидела меня по телевизору и решила, что я важный человек, а значит, пришло время чего-нибудь у меня попросить. Она просила вернуть ватные одеяла, которые ей торжественно выдали в качестве подарка от американских евреев при вселении во временное социальное жилье, а она тогда отдала мне их на хранение. Одеял не было – они долго лежали в моем подвале, подгнили, и я их выбросила. На том и расстались.

Искатели приключений, точнее, искатели новых источников дохода, мы прожили пятнадцать лет в Америке, а перед возвращением решили съездить на традиционное развлечение бывших советских – слет бардовской песни, который я обозвала «пионэрским лагерем». Мачтовые сосны вперемешку с колючим кустарником стерегли зацветшее, почти превратившееся в болото озерцо, редкие стайки комаров, очумевшие от репеллентов разных мастей, нестройные голоса доморощенных менестрелей...

Поздно вечером на ярко освещенной сцене появилась смуглая красивая девушка в вышиванке и хрипловатым голосом затянула украинское танго. «Гуцулка Ксеню, я тобі на трембіті...» – я невольно замурлыкала под нос эти слова припева, единственные, которые знала из всей песни. И тут вдруг поняла, что Наташка поселилась во мне давно и навсегда, что она никогда никуда не уходила, ей было хорошо и спокойно со мной, а мне – радостно и уютно с ней.

«На камені ноги мию...» – доносится из радио в машине звонкий женский голос. Это в Израиле-то! Наверное, по заявкам радиослушателей, как говорили раньше: у нас теперь много радиослушателей с очень разными предпочтениями. Я паркую автомобиль на щербатой грязной площадке возле кладбища. Местный опытный попрошайка, слышав такую музыку, не решается подойти сразу. Уже полгода как мы вернулись из Америки, и я еще не была на папиной могиле. Я всегда смеюсь – надо же, какой папе достался «домик» с видом: высоко на горе, крайний, фронтальный ряд, и оттуда открывается роскошный вид на Иерусалимские горы. Справа лежит какая-то Лилечка, одетая в черный мрамор с выгравированной лилией и длинной эпитафией в стихах. А слева на самом простом стандартном памятнике написано только имя «Наташа» и две даты. В стороне от пыльных камней с красными прожилками валяется засохший букетик, перевязанный розовой ленточкой. И еще цветная фотография, вот удивительно – это у нас уж совсем не принято. Болезненный румянец на смуглой коже, белые-пребелые кривоватые зубы. Улыбается – вот она, я, актриса!